

С. Бавин

Велимир Хлебников
Виктор Владимирович Хлебников
28.X(9.XI).1885 — 28.VI.1922

Среди «сложных» и «загадочных» явлений художественной культуры серебряного века творчество Велимира Хлебникова, безусловно, — в первом ряду. С тех пор как в 1909 году М. Кузмин назвал стихи Хлебникова «гениально-сумасшедшими», мнения специалистов и любителей продолжают развиваться в этом направлении, различаясь лишь акцентом в сторону первой или второй части этого определения.

Охватить творчество Хлебникова «с налету» нелегко. Его главные открытия и достижения ярче проявились в эпической (драмы, проза, поэмы), нежели в лирической (стихотворения) форме. Объяснение этому — в той особой манере мифопоэтического мышления, которое было присуще ему как художнику и мыслителю-утописту и нуждалось в развернутых пространствах для реализации (об этом он говорил, например, во вступлении к сверхповести «Зангези»).

При этом справедливо замечание и о том, что первоначальное знакомство с Хлебниковым происходит «ощупью» — от афоризма к афоризму, по ярким, невероятным метафорам и запоминающимся миниатюрам — вроде той, что любил читать с эстрады Маяковский:

Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибором рынка в поединок!

Пройдя хрестоматийных «Кузнечика», «Смехачей» и «Бобэоби» («кузлы будущего, — писал о них автор, — малый выход бога огня и его веселый плеск»), уже приходится задуматься и о славянском фольклоре и языкознании, и о модернистских течениях в поэзии и живописи... Все дальше будет уводить Хлебников в свои «зачеловеческие сны», где категория времени становится категорией пространства, и искусством слова соединены философия, история, лингвистика, математика...

А начиналось все в калмыцких степях. «Родился, — пишет Хлебников о себе, — ...в стане монгольских исповедующих Будду кочевников — имя “Ханская ставка”, в степи — высохшем дне исчезающего Каспийского моря <...>. При поездке Петра Великого по Волге мой предок угощал его кубком с червонцами разбойничьего происхождения. В моих жилах есть армянская кровь (Алабовы) и кровь запорожцев (Вербицкие) <...> Принадлежу к месту встречи Волги и Каспия-моря (Сигай). Оно не раз на протяжении веков держало в руке весы дел русских и колебало чаши...»

Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды,
Круглообразные кибитки,
Моря овец, чьи лица однообразно худы,
Огнем крыла пестрящие простор удода,
Пустыни неба гордые пожитки.
Так дни текли, за ними годы...

Современные исследователи уточняют — место рождения поэта — село Малые Дербеты Астраханской губернии. В этих краях работал его отец — ученый-орнитолог, впоследствии — один из основателей Астраханского заповедника Владимир Алексеевич Хлебников. Мать поэта — Екатерина Николаевна, урожденная Вербицкая, историк по образованию. В семье, кроме Виктора, было еще четверо детей; одна из его сестер,

Вера, стала художницей, иллюстрировала, в частности, произведения брата, написала о нем воспоминания.

В 1891 Хлебниковы покинули астраханские степи; некоторое время они жили в Волынской губернии, потом — в Симбирской; в Симбирске же Виктор поступил в третий класс гимназии, а заканчивал учебу уже в Казани, куда семья переехала в 1898. Мемуары свидетельствуют о высокой культурной атмосфере, царившей в доме, рано проявившихся способностях Виктора к иностранным языкам, рисованию, математике, его увлечению орнитологией и русской словесностью. В 1900-е он принимал участие в нескольких научных экспедициях (Дагестан, Урал).

При поступлении в Казанский университет (1903) специальностью была избрана математика, литература же осмыслялась как призвание (еще в старших классах гимназии Хлебников писал стихи, посылал прозу на отзыв М. Горькому и получил рукопись обратно с пометками писателя, чем, по воспоминаниям сестры, явно гордился).

На первом же курсе Хлебников принял участие в студенческой демонстрации, был арестован и исключен из университета, на следующий год был зачислен вновь, но уже на естественное отделение. Его учителя, профессора Казанского университета, видели в Хлебникове и многообещающего натуралиста, и одаренного математика. «Однако если бы его удовлетворяло только изучение, — справедливо замечает современный исследователь Р. Дуганов, — он стал бы языковедом или историком, физиком или математиком. Он же хотел не только постигать язык, но и творить новый <...>, не просто изучать прошлое, но и предсказывать будущее. А это неизбежно вело его за рамки существующих наук в область свободного творчества и цельного переживания природы».

Все ярче проявляется интерес Хлебникова к новейшей литературе, русской и мировой истории.

На двадцать третьем году жизни, весной 1908, Виктор с родителями едет отдыхать в Крым, где знакомится с Вячеславом Ивановым, чьи идеи о «всеславянском языке», высказанные в статье «О веселом языке и умном веселии» (1907) были очень близки Хлебникову.

Осенью того же года он перебирается в Петербург. Какое-то время еще делает вид, что учится в университете (третий курс физико-математического факультета, потом — восточный факультет, потом — первый курс историко-филологического), но на занятиях почти не появляется и в 1911 оказывается среди исключенных за неуплату.

Все его мысли с переездом в северную столицу уже заняты творчеством. Он вхож на «башню» Вяч. Иванова, посещает созданную при журнале «Аполлон» «Академию стиха», «познакомился почти со всеми молодыми литераторами Петербурга, — как пишет матери осенью 1909, — Гумилев, Ауслендер, Кузмин, Гофман, гр. Толстой и др., Гюнтер. Мое стихотворение, вероятно, будет помещено в “Аполлоне” <...>. Некоторые пророчат мне большой успех. Но я сильно устал и постарел...» Чуть позже — брату Александру: «Я подмастерье знаменитого Кузмина. Он мой magister. Он написал “Подвиги Александра Македонского”. Я пишу дневник моих встреч с поэтами...»

К осени 1908 относятся первые публикации Хлебникова — в газете «Вечер» стихотворное «крикливое воззвание к славянам» (по собственному более позднему определению) в связи с аннексией Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, в журнале «Весна» — стихотворение в прозе «Искушение грешника». Секретарем журнала в это время был Василий Каменский — поэт, близкий авангардистской группе молодых художников и литераторов (братья Бурлюки, М. Матюшин, Е. Гуро, К. Малевич и др.).

Несмотря на видимую тематическую (увлечение славянской мифологией) и формо-творческую (свободный стих, ритмизованная проза) близость символизму конца 1900-х, Хлебников оказался чужд его представителям. Исследователи более или менее убедительно объясняют причины этого, но, забегаая вперед, можно сказать, что он и не мог быть никому близок (как не стал органически близок и к футуристам, которых упорно

именовал собственным неологизмом «будетляне») — слишком масштабны были его замыслы, слишком непонятны пути. Наиболее тесные и равнодушные отношения сохранялись у Хлебникова с Вяч. Ивановым. Известны их стихотворения, адресованные друг другу, взаимные оценки. Так, Н. Асеев вспоминал: «Вяч. Иванов признавал, что творчество Виктора Хлебникова — творчество гения, но что пройдет не менее ста лет, пока человечество обратит на него внимание... Когда я спросил его, почему он, зная, что уже есть гениальный поэт, не содействует его популярности <...>, В. Иванов с загадочной улыбкой ответил: “Я не могу и не хочу нарушать законов судьбы. Судьба же всех избранных — быть осмеянным толпой”».

О том, что Хлебникова вряд ли знало более ста человек, а хоть как-то понимало не более десяти, писал в 1920-е другой близкий ему поэт — Владимир Маяковский. История взаимоотношений Хлебникова с футуристами тоже не проста, хотя в обиходном сознании он тесным образом связан с этой компанией, надававшей в свое время «пощечин общественному вкусу». Эта связь по крайней мере неоднозначна. Хлебников оказался у истоков футуризма, когда в 1909–1910 формировались и выходили сборники «Студия импрессионистов», «Садок судей» с участием Хлебникова, Д. и Н. Бурлюков, Н. Кульбина, Елены Гуро, М. Матюшина, В. Каменского.

В отличие от Вяч. Иванова, Давид Бурлюк не испытывал проблем в отношениях с «законами судьбы» применительно к Хлебникову. «Радуюсь посылкой вам очень редких рукописей гениального Хлебникова <...>. Печатайте их, “до точки” <...>. Это собрание ценностей, важность которых учтена сейчас быть не может», — писал он, отправляя произведение поэта в сборник «Союз молодежи». Непонимание не помешало интуиции. Показательны в этом смысле воспоминания Б. Лившица (не самого ревностного поклонника Хлебникова) о своем первом знакомстве с рукописями поэта у Бурлюков в 1911:

«...На четвертушках, на полулистах, вырванных из бухгалтерской книги, порою просто на обрывках мельчайшим бисером разбегались во всех направлениях, перекрывая одна другую, записи самого разнообразного содержания. Столбцы каких-то слов вперемежку с датами исторических событий и математическими формулами, черновики писем, собственные имена, колонны цифр. В сплошном истечении начертаний с трудом улавливались элементы организованной речи <...>. То, что нам удалось извлечь из хлебниковского половодья, кружило голову, опрокидывало все обычные представления о природе слова <...>. Все мое существо было сковано апокалиптическим ужасом <...>, ибо я увидел воочию оживший язык.

Дыхание довременного слова пахнуло мне в лицо.
И я понял, что от рождения нем.

Весь Даль с его бесчисленными речениями крошечным островком всплыл среди бушующей стихии.

Она захлестывала его, переворачивала корнями вверх застывшие языковые слои, на которые мы привыкли ступать как на твердую почву <...>.

Процесс, мыслившийся до сих пор как функция коллективного сознания целого народа, был воплощен в творчестве одного человека <...>. Обнажение корней, по отношению к которому поражающие нас словоновшества играли лишь служебную роль, было и не могло быть ничем иным, как пробуждением уснувших в слове смыслов и рождением новых. Именно поэтому обречены на неудачу всякие попытки провести грань между поэтическими творениями Хлебникова и его филологическими изысканиями.

<...> Во что превратилась бы вся наша живопись, если бы в один прекрасный день мы вдруг проснулись со способностью различать сверх семи основных цветов солнечного спектра еще столько же? Самые современные холсты утратили бы свою глубину и предстали бы нам графикой <...>.

Путь Хлебникова был для меня запрещен. Да и кому, кроме него, оказался бы он под силу?..»

Программным выступлением футуристов считается сборник «Пощечина общественному вкусу», вышедший в декабре 1912. Это там были скандально известные призывы к тому, что необходимо «сбросить Пушкина, Лермонтова и проч. <...> с парохода

современности», заявлены основополагающие, как казалось, принципы построения нового искусства. Поверхностное (или тенденциозное) прочтение рассчитанной на эпатаж декларации долгое время, к сожалению, затеняло реальный — по крайней мере, тот, который вкладывал в нее сам Хлебников, — смысл. Уже Ю. Тынянов в поэме «И и Э», входившей в состав сборника, увидел «преображенного» Пушкина. Р. Дуганов, автор новейшей монографии о Хлебникове, поддерживает мнение Тынянова: «Мы без труда догадываемся, что означало название сборника. Ведь “Пощечина” <...> был просто-напросто повторением той самой пощечины, которую пушкинский Руслан дает великанской голове, добывая волшебный меч. И, как насмешливо вспоминал потом Хлебников, “совы летели из усов и бровей седой головы и садились прямо на столбцы передовиков” (то есть газетных передовиц)». Дуганов же напоминает и высказывание Хлебникова 1915:

«Будетлянин — это Пушкин в освещении мировой войны, в плаще нового столетия, учащий праву столетия “смеяться” над Пушкиным 19 века. Бросал Пушкина “с парохода современности” Пушкин же, но за маской нового столетия».

Однако программным для самого Хлебникова следует считать не этот сборник, а вышедшую в том же 1912, но чуть раньше брошюру «Учитель и ученик». В ней автор, реализуя известное выражение об ученике, превзошедшем учителя, в виде диалога представил свои первые результаты филологических изысканий «простейшего языка» в рассуждениях о «внутреннем склонении слов», математических исчислениях законов, управляющих историческими событиями и даже возникновением городов. Именно здесь, выискивая закономерности падения государств, он предположил, что ближайшее такое событие может произойти в 1917 году. Конечно, серьезная наука должна была с пренебрежением отмахнуться от этих изысканий, тем более что «ученик» так объяснял причины своих открытий:

«Ясные звезды юга разбудили во мне халдеянина. В день Ивана Купала я нашел свой папоротник — правило падения государств. Я знаю про ум материка, нисколько не похожий на ум островитян. Сын гордой Азии не мирится с полуостровным рассудком европейцев».

Важно отметить в этой связи, что филология, история, математика существовали не отдельно от собственно поэтического и прозаического творчества, а сливались с ним; поэзия и проза служили своеобразным выходом интеллектуальных озарений художника и мыслителя, одновременно являя собой и новый литературный мир, создаваемый Хлебниковым. Максимально адекватное выражение это слияние получило в синтетическом жанре, названном Хлебниковым «сверхповестью» («Дети Выдры», «Зангези» и др.). Однако о «неделимости» этого мира можно говорить и применительно к тому периоду, когда разные жанры существовали «по-отдельности». Вот, например, 1913 год. В самом его начале Хлебников пишет А. Крученых о своих планах, «пунктами» которых называет изучение Задунайской Руси, Индии, Польши, собирается «воспеть растения», «заглядывать в словари славян, черногорцев и др. — собиранье русского языка не окончено... Одна из тайн творчества, — продолжает Хлебников, — видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа...» Различная историческая и бытовая конкретика, лежащая в основе ряда произведений, созданных в этот год, связана каким-то «общим освещением», сверхидеей, позволяющими увидеть их как некую часть мировой «сверхповести», у которой, разумеется, нет ни начала, ни конца, и потому все творчество Хлебникова можно расценить как гигантский фрагмент словесного выражения природно-космического и земного бытия. История Руси в соотнесенности с историей Польши (поэма «Марина Мнишек»), с историей Азии (поэма «Хаджи-Тархан»), с современностью (поэма «Сельская дружба»); мифология индуистская (стихотворение «Меня проносят на слоновых...») и славянская (стихи «Перуну», «Ночь в Галиции»); то же разнообразие — в повестях: азиатские мотивы — в «Охотнике Уса-гали»,

русские — в «Николае», южнославянские («черногорские») — в «Закаленном сердце»... Во многих из названных произведений заметен и элемент автобиографизма, без трения сочетающийся с самыми широкими историческими обобщениями. Для полноты картины этого года можно добавить еще статью «Рябь о железных дорогах», где автор размышляет о развитии цивилизации в связи с развитием транспорта в Италии, Северной Америке и России...

Закон качелей велит
Иметь обувь то широкую, то узкую.
Времени то ночью, то днем.
А владыками земли то носорогу, то человеку.

1912–1914 — период наиболее яркого успеха футуристов. Однако Хлебников практически еще не принимал участия ни в эстрадных выступлениях, ни в знаменитых турне футуристов; стихи его читал Маяковский. Его «тихая гениальность», по выражению того же Маяковского, могла бы остаться вообще незамеченной, если бы новые друзья не занимались публикацией его творений. Наиболее тесные контакты в этом плане возникли у Хлебникова с Алексеем Крученых. Они выпустили ряд совместных сборников («Игра в аду», «Мир с конца», «Слово как таковое» и др.); в 1920-е, после смерти Хлебникова, Крученых занимался публикацией его произведений («Записная книжка», 1925; «Неизданный Хлебников». Вып. 1–30, 1928–1933). Публиковал Хлебникова и Давид Бурлюк (сборники «Затычка», 1914; «Творения». Т. 1 (1906–1908), 1914), при этом поэт выражал неудовольствие составом книг, включавших черновики и произведения, не подготовленные для печати. Регулярно принимал он участие и в коллективных сборниках.

Хлебников словно раздваивался. Своим именем, произведениями, благодаря друзьям, он постоянно присутствовал в литературной жизни Петербурга-Петрограда, но мыслями, а часто и физически отсутствовал, проводя время в разъездах (Москва, Астрахань у родных, Чернянка у Бурлюков, Куоккала и др.). Это, пожалуй, нельзя назвать путешествиями — скорее, Хлебников просто искал возможность целиком отдаться своему главному делу, не заботясь о быте. Вот в 1915 он пишет родным из Куоккалы, в своей обычной манере сочетая «высокое» и «низменное» чуть ли не в одной фразе:

«...Наметил дороги к дальнейшим задачам из области опытного (через опыт, а не умозрение) изучения времени. Таким я уйду в века — открывшим законы времени. Пока же прилежно каждые первого числа высылайте обещанное <...>. Я дорожу знакомством с семьей писателя Лазаревского. Старый морской волк с кровью запорожцев в жилах.

Все же Евреиновы, Чуковские, Репины какая-то подделка в конце концов как люди <...>. Я чувствую определенный простор и достаточное пространство для того, чтобы расправить крылья каспийского орлана, и черпаю клювом моря чисел».

Здесь уместно прояснить одну легенду, прочно связанную с Хлебниковым, согласно которой он был «человеком не от мира сего», не заботился о себе, о своих рукописях, о быте. Во многом это так. Н. Асеев точно подметил, что происходило «это не потому, что он лишен был какой бы то ни было практической сметливости или человеческих желаний. Нет, просто ему некогда было об этом заботиться. Все время свое он занял обдумыванием, планами, изобретениями».

Можно говорить, что «житейскому» находится минимум места в сознании (при этом проскальзывает даже какая-то расчетливость), но «идеальное» мощно доминирует и направляет все поступки, не позволяя отвлекаться на «мелочи». Показательно, например, его юношеское письмо родителям из Москвы, куда он впервые самостоятельно приехал в 1904:

«По железной дороге ехал сравнительно благополучно, но за двое суток спал не более трех или двух часов, за все время съел несколько пирожков и выпил только два стакана чая <...>. В гостинице я не останавливался, а прямо оставил вещи у швейцара и отыскал себе комнатку за 6 р. и, привезши вещи, в тот же день объехал почти всю Москву, осмотрел Третьяковскую

галерею, Исторический музей и был в Тургеневской читальне, так как я почти двое суток был на ногах, а в Москву приехал в 6 час. утра и до 8 час. вечера ходил по улицам, то я очень устал и несколько раз должен был останавливаться, чтобы дать отдохнуть ногам. Но сегодня все прошло, и я совсем отдохнул. А вчера у меня был такой (может быть истощенный) вид, что на меня оглядывались. Сегодня я опять осматривал и видел Румянцевский музей и Исторический музей...»

Интересны в этом смысле письма Хлебникова последних лет, времени его пребывания в Персии и на Северном Кавказе. Они полны вполне житейских рассуждений о бедах и выгодах жизни на юге, о редких эпизодах благополучного существования (как он подетски радуется полученным американским ботинкам, и как по-хозяйски оценивает их прочность!), приглашений родным (в частности, сестре Вере) приехать к нему жить... В письмах 1920-х неоднократно звучит и «неожиданный» мотив: «главная тайна, блистающая, как северная звезда, это — изданы мои сочинения или нет?» (письмо О. Брику, 23 февр. 1920); «очень хотелось бы видеть вещи напечатанными» (ему же, 30 апр. 1920); «когда молчит печатный станок, я умер» (В. Маяковскому, 18 февр. 1921). Всегда серьезный, когда речь заходила о его законах времени, в последние годы Хлебников позволяет себе нечто вроде иронии. Рассказывая сестре о своем докладе в Харькове, он пишет:

«...Правда, я утонченно истязал их: марксистам я сообщил, что я Маркс в квадрате, а тем, кто предпочитает Магомета, я сообщил, что я продолжение проповеди Магомета, ставшего немым и заменившего слово числом <...>. Вот почему все те, чье самолюбие не идет дальше получения сапог в награду за хорошее поведение и благонамеренный образ мысли, шарахнулись прочь и испуганно смотрят на меня. Но жребий все-таки брошен...» (письмо В. В. Хлебниковой, 2 янв. 1920);

«Если люди не захотят научиться моему искусству предвидеть будущее (а это уже случилось в Баку, среди местных людей мысли), я буду обучать ему лошадей. Может быть государство лошадей окажется более способными учениками, чем государство людей. Лошади будут мне благодарны <...>, у них будет подсобный заработок: предсказывать людям и помогать правительствам, у которых еще есть уши...» (письмо В. Ермилову, 3 янв. 1921);

«Я нашел в Баку основной закон времени, то есть продел медведю земного шара кольцо через нос — жестокая вещь,— с помощью которого можно дать представление с нашим новым Мишкой.

Это будет весело и забавно. Это будет игра в сумасшествия: кто сумасшедший — мы или он» (письмо Л. Ю. Брик, янв. 1922).

Подытоживая это затянувшееся отступление, следует сказать, что сотворению легенды о странном Хлебникове, равно как и легенды о его непонятности, во многом способствовало то неизбывное человеческое качество, которое лаконично определил еще Пушкин: «мы ленивы и нелюбопытны...». Он был странен не больше, чем может быть странен гений среди обыкновенных людей.

Но надо вернуться в середину 1910-х. Идет мировая война. Хлебников в это время интенсивно работает над своими математическими вычислениями закономерности исторических событий (в частности, пытается, но неудачно, предсказать даты морских сражений); выпускает свой «Изборник стихов (с послесловием речаря)», куда включил произведения 1908–1914; выступает в антивоенном альманахе футуристов «Взял», сближается с Бриками и Маяковским; в 1916 вместе с Н. Асеевым, Г. Петниковым и другими публикует декларацию «Труба марсиан» со знаменитым делением рода человеческого на «изобретателей» и «приобретателей» и провозглашением «государства молодежи».

«Мы зовем в страну, где говорят деревья, где научные союзы, похожие на волны, где весенние войска любви, где время цветет как черемуха и двигает как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и как токарь обращается со своим завтра».

В этой декларации появились «приказы», подписанные: «Король времени Велимир 1-й».

Однако королю пришлось вскоре опуститься на грешную землю. Он был призван в армию и почти год мыкался в запасных частях, всеми правдами и неправдами стремясь вырваться на волю, засыпая знакомых жалобными письмами о помощи.

«...Шаги, приказания, убийство моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий, и я совершенно не помню правой и левой ноги. Кроме того, в силу углубленности я совершенно лишен возможности достаточно быстро и точно повиноваться <...>. Побужденный войной, я должен буду сломать свой ритм (участь Шевченко и др.) и замолчать как поэт. Это мне отнюдь не улыбается, и я буду продолжать кричать о спасительном круге к неизвестному на пароходе <...>.

Как солдат, я совершенно ничто. За военной оградой я нечто <...>. А что я буду делать с присягой, я, уже давший присягу Поэзии?»

Помощь петербургского приват-доцента Военно-медицинской академии Н.И. Кульбина, «интереснейшего художника и неутомимого проповедника артистического авангарда» (по словам Ю. Анненкова), к которому в большинстве своем и были адресованы эти письма, способствовала в конце концов тому, что весной 1917 Хлебников получил пятимесячный отпуск из саратовских казарм.

Военная и антивоенная тематика имела большое значение в творчестве Хлебникова, и любопытно проследить, как на протяжении 1910-х меняется его интонация — от призывов к возрождению русской воинской славы, опирающихся на прочную базу национально-славянского мировоззрения, до противостояния войне как мифологизированной богине смерти, уничтожающей поколения. Впрочем, преодоление войн — «войны построены на отрицании рока» — Хлебников связывал с решением своей сверхзадачи: «чистые законы времени учат, что все относительно. Они делают нравы менее кровожадными, странно облагораживают их».

Так же по-своему поэт принял и совершившуюся революцию в октябре 1917. Автор первой советской монографии о нем Н. Степанов находит в послеоктябрьских поэмах «воодушевление грандиозностью событий, их историческим значением <...>. Хлебников принял ее правду, ее высшую справедливость и нравственную правоту восставшего народа...» Язык не повернется говорить о конъюнктурности Хлебникова; действительно, в поэмах «Ночь перед Советами», «Горячее поле» («Прачка»), «Настоящее», «Ночной обыск» звучит «голос улицы», в разговорной, близкой стилю блоковской поэмы «Двенадцать», манере выражено торжество «простого народа», поверившего в освобождение от «барской неволи»... Однако не все так просто у Хлебникова, да и странно было бы допустить столь прямолинейную логику. В поэме «Ночной обыск», например, рисующей разгром «барского» дома лихими «братками»-матросами, нагнетание жестокости в какой-то момент словно изменяет угол зрения на происходящее — и безумная радость от торжества силы вооруженных людей над безоружными — молодым человеком, его матерью, девушкой — неуловимо оборачивается беспощадным осуждением слепого и бессмысленного насилия — тем более впечатляющим, что понимание этого нисходит на одного из тех, кто вершил «правое дело»:

Я в жизнь его ворвался и убил,
Как темное ночное божество,
Но побежден его был звонким смехом,
Где стекла юности звенели.
Теперь я бога победить хочу
Веселым смехом той же силы,
Хоть мрачно мне
Сейчас и тяжко. И трудно мне.
— Бог! Я пьян...

Справедливо замечено, что каждое произведение Хлебникова — больше, чем оно есть, «не равно себе, не самоидентифицируемо и не самодостаточно». С этой точки зрения правомочно сопоставить «революционные поэмы» Хлебникова с его чуть более поздней

поэмой «Ладомир» (1920–1921), где происшедшие социальные перемены осмыслены в гораздо более широком, мировом и даже космическом масштабе. Поэт в соответствии со своими представлениями воспринимает настоящее:

И то впервые на земле:
Лоб Разина резьбы Коненкова,
Священной книгой на Кремле,
И не боится дня Шевченко.
Свободы воин и босяк,
Ты видишь, пробежал табун?
То буйных воль косяк,
Ломающих чугуны!

Любопытно напомнить в этой связи одно воспоминание друга поэта, художника Юрия Анненкова: «Эр Эс Эф Эс Эр, че-ка! Нар ком, ахрр! Это же заумный язык, это же моя фонетика, это же — мои фонемы! Это — памятник Хлебникову! — восклицал он, переполненный радостью.

Реальность, увы, как и всегда, была значительно более прозаичной, чем воображение поэта.

Странно и сегодня читать в «Ладомире», такой внешне цельнолитой поэме, призывы к мести и к «козни умных самок» рядом с надмирными и космополитическими мечтаниями. Политической «кашей» в сознании «мирооси данника звездного» можно объяснить сочетание таких общеизвестных строк —

И пусть пространство Лобачевского
Летит с знамен ночного Невского.
Это шествуют творяне,
Заменивши Д на Т,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте.

и менее известных, уподобляющих революцию... крещению Руси:

Туда, к мировому здоровью,
Наполнимте солнцем глаголы,
Перуном плывут по Днепровью,
Как падшие боги, престолы.

Ну что ж, из песни слов не выкинешь, а кому-то такое уподобление, может, и нравится. Читающему Хлебникова надо быть готовым и к более сложным проблемам.

Темой многих серьезных исследований является «заумный язык» Хлебникова. На протяжении многих лет он занимался изучением слова, словотворчеством, относясь к этому не столько как к сотворению слова (чем по преимуществу занимались его друзья-футуристы), но в большей степени — как к освобождению смысла, «оживлению давно забытого в слове родства с близкими и возникновению нового родства с чужими словами» (Ю. Тынянов).

В 1920 (сборник «Лирень») Хлебников опубликовал свой труд «Наша основа», который, в сочетании с предыдущими статьями и с позднейшими доработками, может быть рассмотрен как программное заявление автора на эту тему. Его примеры зачастую приблизительны, а выглядящие как откровения числовые соотношения (типа отношения диаметра красного кровяного шарика к диаметру Земли как 1 : 36510) неточны. Важнее в этом смысле теоретические предпосылки, идеи, которые пытался реализовать поэт — лингвист и математик.

«Словотворчество есть взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка <...>. Словотворчество — враг книжного окаменения языка и, опираясь на то, то в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем <...>. Словотворчество

не нарушает законов языка <...>. Свободные сочетания, игра голоса вне слов, названы заумным языком. Заумный язык — значит находящийся за пределами разума. Сравним Заречье — за рекой, Задонщина — за Доном. То, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с разумным <...>.

Заумный язык исходит из двух предпосылок:

1. Первая согласная простого слова управляет всем словом — приказывает остальным.
2. Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка...»

Наиболее полно и зримо «заумный» язык реализован в сверхповести «Зангези» (1920–1922). При этом легко увидеть, что заумным языком пользуется только сам Зангези — то ли бог, то ли пророк, а автор в особо сложных ситуациях рядом дает расшифровку; простые же люди — его слушатели — вполне по-земному реагируют на происходящее, объясняясь обычным и к тому же прозаическим (в отличие от рифмованного или белого стиха «зауми») языком. Примечательно наблюдение Дуганова в этой связи: «можно сказать, что в поэтической системе Хлебникова “заумная” стиховая речь воплощает природно-космическое состояние слова, тогда как прозаическая речь — его социально-историческое бытие. Между ними возможны непрерывные переходы, превращения <...> и даже своеобразный параллелизм».

Во всяком случае, сверхповести Хлебникова можно рассматривать как своеобразный эпос — эпос сознания, эпос о мыслительном процессе, связующем прошлое и будущее человечества. Развивая это предположение и памятуя о тыняновском (1928) определении Хлебникова как «единственного нашего поэта-эпика XX века», можно назвать и другие его «эпосы» — славянский фольклорный эпос («Лесная дева», «Вила и Леший», «Шаман и Венера», «Лесная тоска», «Уструг Разина», драма-сказка «Снежимочка», проза «Великдень», «Жители гор», «Николай»), азиатский (точнее — «азиатский») эпос, соединяющий глубокое прошлое с личными впечатлениями («Хаджи-Тархан», «Труба Гуль-муллы», «Азы и узы», «Тиран без Тэ»). Но, пожалуй, самую широкую эпическую картину (эпос мира) представил Хлебников в повести «Ка» — фантастической лирико-философской картине о человеческом духе, соединяющем времена, народы, мифологические и исторические представления о душе, творчестве и любви.

В судьбе Хлебникова послереволюционных лет большую роль сыграл Восток — он словно вернулся к тому матерiku, из которого вышел (конечно, в его собственных историко-географических координатах, не обязательно совпадающих с реальностью). Не совсем совпадали с реальностью и его поэтические декларации — «Воззвание Председателей Земного Шара» (1917) и более поздние статьи («Союз изобретателей», «Художники мира!», «Всем! Всем! Всем!» и др.). «Голод пространства», а может, просто «разворощенный бурей быт» носил Хлебникова по стране, по уже знакомым городам обитания — Москва, Нижний Новгород, Астрахань, Харьков; в последнем он проводит весну и лето 1920. Там же, в апреле, в городском театре состоялось избрание Хлебникова Председателем Земного Шара; в этом действе принимали участие Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф (кстати сказать, имажинисты в своем издательстве опубликовали поэму «Ночь в окопе»). К осени 1920 Хлебников перебрался в Баку, где в это время жила целая колония русских литераторов. Из давних знакомых там были Вяч. Иванов, С. Городецкий, А. Крученых. Поэта удалось пристроить на работу в КавРОСТА, а позже — в политико-просветительский отдел Каспийской флотилии. Жизнь на полувоенном пайковом положении была очень трудна для него. Разумеется, он не мог (просто не умел) ни готовить, ни экономно расходовать средства. «Вяч. Иванов постоянно о нем заботился, даже отбирал жалование на хранение и выдавал по частям на необходимое, ибо Хлебников то терял деньги, то раздавал нищим, то накупал, голодный, сластей», — зафиксировала этот период мемуаристка.

Весной следующего года Хлебникову удалось присоединиться к частям Красной Армии, совершавшим поход в Персию «на помощь иранским революционерам». Идея всеобщего равенства, равенства людей-пчел, о котором мечтал поэт несколько лет назад, безусловно связывалась им с лозунгами большевиков. Хлебников, очевидно, не мог сопоставить слова и реальные дела, а потому с чистым сердцем писал в стихах:

Клянемся золотыми устами Заратустры —
Персия будет советской страной.
Так говорит пророк!

И одновременно — в письме сестре: «Знамя Председателей Земного Шара всюду следует за мной, развеивается сейчас в Персии...»

Беззаботное, судя по отрывочным мемуарам, существование поэта в благодатных краях дало толчок появлению ряда произведений «восточной» тематики (наиболее яркое среди них — поэма «Труба Гуль-муллы»).

Осенью местом обитания поэта стали Железноводск и Пятигорск (блестящая поэма «Шествие осеней в Пятигорске»), а Новый год он уже встретил в Москве. «Ехал в Москву в одной рубашке: юг меня раздел до последней нитки, а москвичи одели в шубу и серую пару» (письмо родителям, 14 янв. 1922). «Москвичи» — это В. Маяковский, Л. Брик, художник Е. Спасский и другие; много внимания уделял как самому поэту, так и публикации его произведений («Вестник Председателя Земного Шара», «Зангези», «Доски судьбы») художник П. Митурич.

С Петром Митуричем Хлебников совершил весной 1922 и свое последнее путешествие — в деревню Санталово Новгородской губернии, где работала учительницей жена художника. Со своими неизменными мешками с рукописями Хлебников, уже больной, добрался до места назначения, но вскоре у него отнялись ноги, и никакие местные медицинские средства не помогли. Там же, в деревне Ручьи, он был похоронен. В 1960 его прах был перевезен на Новодевичье кладбище в Москву.

В 1921 году Хлебников сказал: «Люди моей задачи часто умирают тридцати семи лет...»